

УДК 882(09)

М.А. Перепёлкин*

**МИР, НАИЗНАНКУ ВЫВЕРНУТЫЙ: МЕТАФИЗИКА «КРАЯ»
В «БЛАГОВЕСТВОВАНИИ» ВЕНЕДИКТА ЕРОФЕЕВА**

В статье проделан анализ системы мотивов, идей и философских концепций одного из ранних произведений Венедикта Ерофеева – «Благовествования» («Благой вести»), в основе которого лежит мысль о том, что подлинная правда человеческого бытия сосредоточена в точках «начала» и «конца». Подчеркивая мысль о значимости этих крайних точек, В. Ерофеев выворачивает мир наизнанку, чтобы вернуть ему единственное, что сохраняет смысл его бытия, – творческое начало.

Ключевые слова: В. Ерофеев, метафизика, сюжетно-смысловая структура, «края» в сюжетной структуре.

«Благовествование» («Благая весть»), которое датируется 1962-м годом, принадлежит к числу ранних произведений В. Ерофеева. Подводя своеобразные итоги своей литературной деятельности, сам автор отметил, что «знатоки в столице расценили («Благовую весть». – М. П.) как вздорную попытку дать Евангелие русского экзистенциализма и «Ницше, наизнанку вывернутого» [2, с. 8].

Заслоняемое другими, более значимыми произведениями В. Ерофеева и в первую очередь, разумеется, поэмой «Москва–Петушки», «Благовествование» не часто попадает в сферу исследовательского внимания и тоже преимущественно в качестве «комментария» к поэме. Именно так его рассматривала И.С. Скоропанова, увидевшая в «Благовествовании» воскрешение ницшеанской традиции и рассказ о духовном прозрении его автора, который освободился от власти догм и от «бремени измерений» [3, с. 86]. Заключительный вывод исследовательницы, касающийся «Благовествования», следующий: «В сущности, Вен. Ерофеев дает образ мира-хаоса, открывшегося не в его разрушительной, а в порождающей потенции» [3, с. 87].

Для того чтобы видеть в «Благовествовании» своеобразный комментарий к поэме, написанной несколько лет спустя, разумеется, есть все основания, на которых мы не будем останавливаться в силу того, что они уже назывались исследователями. Одна-

* © Перепёлкин М.А., 2015

Перепёлкин Михаил Анатольевич (mperepelkin@mail.ru), кафедра русской и зарубежной литературы, Самарский государственный университет, 443011, Российская Федерация, г. Самара, ул. Акад. Павлова, 1.

ко, на наш взгляд, это совсем не препятствует тому, чтобы попытаться рассмотреть в этом раннем сочинении автора «Москвы—Петушков» самостоятельное произведение, обладающее собственной эстетической значимостью и представляющее собой сложноорганизованную систему мотивов, идей и философских концепций, предварительный анализ которой проделан в этой статье.

Обратимся прежде всего к рассмотрению сюжетной структуры «Благовествования».

На сегодняшний день известны две редакции данного текста, отличающиеся друг от друга названием (в одном случае — «Благовествование» [1, с. 139–148], в другом случае — «Благая весть» [2, с. 295–305]), полнотой и количеством глав (в первой редакции текст обрывается примерно на середине пятой главы, а во второй редакции эта глава, соответственно, почти в два раза больше и имеет отсутствующий в первом случае эпиграф; кроме этого, во второй редакции в тексте имеется заключительная, «тринадцатая», глава, которая состоит всего из нескольких строчек). В текстах обеих редакций имеются пропуски, специально помеченные публикаторами.

Попробуем разобраться в том, какова логика сюжетного развертывания «Благовествования».

В первой главе герою, который выступает в качестве alter ego автора, достигшему некоего предельного состояния, открывается иной взгляд на вещи, и явившийся ему вестник о т т у д а уносит его туда, где над человеком более не властно «бремя измерений». Далее освободившийся от «бремени измерений» герой подвергается трем искушениям, которые изображаются соответственно во второй, третьей и четвертой главах «Благовествования».

Первое искушение представляет собой пребывание героя в Преисподней, где к нему обращается Сатана, жалующийся на участь свою и своего племени, заклиняющий «поведать миру все, чего не сказал <...> прослышавший Лукавым» и т. д. Второе искушение — плотские утехы, «грязь человеческих страстей», как назовет его сам герой, с охотой поддавшийся соблазнению «девы, достигшей в красоте пределов фантазии» и только силой оторванный от нее «незримым», которому пришлось схватить героя за шиворот и «проблеять» ему в уши: «Что делаешь Ты, Брат Мой, в этом мире, Ты, который больше, чем Божий мир?». Наконец, третье искушение представляет собой встречу и диалог героя с Искупителем «у лучезарного престола Всеблагого»; завершается этот диалог падением без сознания Божьего Сына «к ногам небесного воинства» и изгнанием героя «за пределы райских преддверий».

По окончании искушений герой возвращается на землю и приступает к выполнению миссии, возложенной на него «пославшим Его в этот мир»: находит учеников, «вразумляет» их и т. д. — этому посвящена пятая глава «Благовествования».

Заключительная, тринадцатая глава представляет собой следующий «поэтический фрагмент»:

<...>

«И вот ухожу я,

И вот ухожу я из мира скорби и печали,

Из мира скорби и печали, которого не знаю,

В мир вечного блаженства, в котором не буду» [2, с. 305].

Такова внешняя событийная канва «Благовествования», за которой, очевидно, стоит некий внутренний сюжет, присутствие которого выводит данный текст за пределы «вздорных» попыток переложить Евангелие или дать еще одну литературную версию сюжета об обретении пророческого дара.

Где этот — внутренний — сюжет искать?

Присмотримся внимательно к происходящему в первой главе.

Глава открывается следующим фрагментом: «И было утро — слушайте, слушайте! И было утро, и был вечер, и полыхали зарницы, и южный ветер сгибал тамаринды, и колхозная рожь трепетала в лучах заката. Мой разум глух и сердце оскудевало, и не хватало дыхания, и грудь моя теснилась от миллиона предчувствий, и я в первый раз поглядел на небо. И — в тот же час — свершилось! Сквозь метания беспокойных звезд ворвался в унылую музыку сфер охрипший хор серафимов, и завеса времен заколыхалась от сумасшедшего томления, и надвое раздралась» [2, с. 295].

Разум героя «глух», «сердце оскудевало», ему «не хватало дыхания» и т. д., очевидно, что все это — знаки смерти, а все содержание первой главы представляет вначале изображение предсмертных мук, затем — самой смерти, наступающей, видимо, в тот момент, когда герой, судя по всему, принимает горизонтальное положение, то есть ложится ничком и смотрит «на небо». Завершается глава изображением происходящего с героем в первые мгновения после смерти.

В таком случае, что происходит с героем дальше и как надо понимать смысл искушений, которым он подвергается в трех следующих главах?

Заметим, что искусительным для героя оказывается не только пребывание в Преисподней и в «той земле, где доселе не был», но и возле престола Искупителя тоже. Во всех трех ситуациях тот, кого «искушают», ведет себя довольно непредсказуемо, а именно — молчит в разговоре с Сатаной, согласно внимая его кощунственным словам и поучениям («И — всколыхнувший вековые мерцания — я вошел в их пределы, и заметалось пламя тысячи лампад, и толпы бескрылых детей Сатаны восклонились от каменного ложа, и обратили взоры ко мне, и отряхнули пыль с нетленных ушей, и — вместе со мной — застыли, в звучании властного и пропитого голоса Хозяина Преисподней <...>» [2, с. 297]), и, напротив, спорит и доказывает свою правоту перед Всеблагим, где уместнее было бы молча смириться («И мы отвечали Ему: «Не затем, чтобы вкусить улады и прозябания в ваших пределах. И не ожидая покровительства Господня мы стремили, заблудшие, свой полет. Но разбудить Твой дремлющий дух и к радостному покаянию призвать тебя, дружище Иисус — <...> И если Сам Он здесь — среди нас — исполнитель законов собственной природы, Неотесанный Живодер, лишенный рассудка, иронии и форм протяжения, тупой, как сибирский валенок, если Сам Он здесь — среди нас — наплюй Ему в Лицо, Искупитель, и благослови нас» [2, с. 301–302]). Искушаемый герой с радостью поддается искушению девы и т.п. В чем здесь дело?

А дело, на наш взгляд, в следующем. Нарочно смешивая Преисподнюю с Раем, заставляя героя быть смиренным и послушным с Сатаной и задиристым и непокорным с Искупителем, автор добивается того, что «врата Адовы» и «райские преддверия» оказываются настолько малоразличимыми, что всякий смысл в их различении просто утрачивается. «Адово» ведет себя как «райское» и наоборот, Сатана сдержан, основателен и проникновенен в своих словах, Искупитель дерзок и чрезмерно экзальтирован.

Итогом этого неразличения оказывается то, что не теряет смысла только наличие самих этих врат-преддверий, а то, что стоит за ними, оказывается совершенно не принципиальным.

Отдельное место в смысловой структуре «Благовествования» принадлежит третьей главе, которая занимает срединное место как между главами об искушениях, так и в тексте произведения в целом. На внешнем событийном уровне в данной главе изображается сцена соблазнения героя «девой, достигшей в красоте пределов фантазии», либо наоборот — соблазнения «девы» героем (следует подчеркнуть, что это «наоборот» не случайно: В. Ерофеев не расставляет никаких точек над «и», в результате чего здесь, как и в других случаях, важно само происходящее, но никак не то, что его окружает, предшествует ему или за ним следует). Но с учетом всего выше сказанного

и, в частности, срединного места главы в композиционной структуре «Благовествования», можно предположить, что роль данной главы в смысловой структуре этим не исчерпывается.

Еще раз подчеркнем: «искушение» третьей главы находится между «вратами Адовыми» и «райскими преддвериями», а также между утренне-вечерней и вечерне-утренней первой и заключительной главами. Рождение и смерть, которые сближаются В. Ерофеевым и в других сценах и образах произведения, в «сцене соблазнения» третьей главы соприкасаются наиболее непосредственно, и с этой точки зрения борьба-близость данной главы есть самое рождение и смерть, взятые в неразрывном единстве.

Пятая глава «Благовествования» возвращает читателя к самому началу текста, буквально повторяя «зачин» первой главы: «И было утро — слушайте! слушайте! <...> и было утро, и был вечер, и полыхали зарницы, и южный ветер сгибал тамаринды, и колхозная рожь трепетала в лучах заката» [2, с. 303]. Однако повторение отдельных мотивов и целых сюжетных ситуаций первой главы в главе заключительной, если присмотреться к нему внимательно, носит не буквальный, а зеркальный характер.

Если предметом изображения в первой главе была смерть героя и сопровождающие ее физические мучения, то в заключительной главе, напротив, изображается его рождение: «И, мятежное дитя, Я очнулся в том самом образе, который утратил было в семье небожителей. И снова увидел землю, которую вечность назад покинул, и сам не узнанный никем, никого не узнал. И препоясал чресла, на голову одел венки из увядающих трав. И взяв камышовый посох, — вышел в путь, озаренный звездами; сырость и мгла подмосковных болот окрыляли Мне сердце предчувствием всех начал; и — на рассвете пришел к водоему; и вот — безмолвие оборвалось, и вопль о помощи огласил почиющие тростники, и траурный всплеск, и смятение отроков, бегущих к воде; и, раздвинув кусты, Я вышел навстречу мятущимся <...>» [2, с. 304].

На семантику начала жизни, рождения в процитированном фрагменте указывают как прямые обозначения и характеристики («мятежное дитя», «предчувствие всех начал», «рассвет»), так и многочисленные парафрастические наименования действий, места, ощущений и т. д. (сюда относится, например, соседство «венка из увядших трав» и «камышового посоха», маркирующих, соответственно, женское и мужское начала; «сырость и мгла подмосковных болот», которые вместе с «водоемом» могут рассматриваться как парафраз околплодных вод — среды, окружающей еще не родившегося младенца; нарушающий безмолвие «вопл о помощи»; «раздвинутые кусты», сквозь которые появляющийся на свет герой выходит навстречу мятущимся и т. д.).

Если наша интерпретация логики сюжетного развертывания «Благовествования» от первой главы к пятой верна, то мы имеем дело примерно со следующим: в первой главе изображается смерть героя; в трех следующих за ней — посмертное и/или предродовое пребывание его в малоразличимых адово-райских пределах, которое разрывается схваткой жизни и смерти «в той земле, где доселе не был»; наконец, в пятой главе герой из небытия, или, точнее из инобытия рождается в мир, чтобы жить, проповедовать и т. д.

Очевидно, что в такой сюжетной логике есть своя странность, связанная, в частности, с тем, что первая и пятая главы находятся не на «своих» местах, то есть с тем, что смерть героя предшествует его же рождению. Гораздо логичнее было бы поменять две главы местами, тем более что для этого, кроме логики сюжетного развертывания, имеются и другие основания, самым весомым из которых является наличие в пятой главе эпиграфа.

Эпиграф к пятой главе следующий: «И была среди них дева, и бремя любви падало не на меня одного, и солнце сто тридцать раз садилось за горизонтом, и Я

отверг». Обращают на себя внимание сразу несколько обстоятельств, связанных с этим эпиграфом, а именно эпиграф к пятой главе — единственный во всем тексте «Благовествования», поэтому справедливо было бы предположить, что он ко всему тексту и относится; смысловые ресурсы данного эпиграфа шире «смысловой отдачи» главы, которой он предпослан, а отдельные заданные этим эпиграфом тематические послы, как, например, «дева», «бремя любви», которой падало «не на меня одного», число «сто тридцать», садящееся за горизонт солнце и другие подхватываются во всех других главах, кроме той, к которой этот эпиграф относится.

В таком случае, как объяснить то, что глава с эпиграфом, которая должна открывать текст «Благовествования», находится почти что в его конце? Чтобы ответить на этот вопрос, обратим наше внимание еще на один мотив, сближающий «начало» и «конец» повествования, а именно на «утро» и «вечер» в самом начале первой и пятой глав.

Как следует из нашего анализа, первая глава является преимущественно «вечерней», а пятая — «утренней»; «метания беспокойных звезд» в начале «Благовествования», исходя из сказанного, следует понимать как явление, сопровождающее начало ночи, а «путь, озаренный звездами» в пятой главе представляет собой путь, озаренный меркнущими, исчезающими утренними звездами.

Однако между «утренним» и «вечерним» чрезвычайно много близкого, не зря обе рассматриваемые главы открываются фразой, в которой «утро» и «вечер» почти сливаются: «...и было утро, и был вечер...».

«Утро» и «вечер» в контексте «Благовествования» оказываются одной и той же точкой, порогом, отделяющим одну грань мира от того, что находится по ту ее сторону.

«Утро» и «вечер» в то же время маркируют начало и конец «очень жизненного пути» героя, которые, однако, не разделены, а совпадают и являются различными названиями одного и того же предела, в котором человек в свое время утрачивает единство с миром, рождаясь в жизнь, представляющую собой мир дисгармоничный, разъятый на части, нецелостный, и вновь обретает утраченное, возвращается в состояние собранности, гармонии и взаимопроникновения всего сущего.

Итак, утро человеческой жизни есть в то же самое время ее вечер, а начало и конец представляют одно целое. Смерть героя есть в то же время его рождение и наоборот; умирая, герой в то же время рождается, и то, что с одной стороны воспринимается как предсмертные мучения, является также и родовыми муками.

Исходя из выше сказанного, «перестановка» первой и пятой глав в тексте «Благовествования» должна восприниматься как попытка актуализировать указанную ситуацию неразличения «утра» и «вечера», «начала» и «конца», «входа» в жизнь и «выхода» из нее. Находящиеся на своих местах, главы о «начале» и «конце» воспринимались бы в рамках бытовой логики, совпадающей с «законами... природы». Герою же и автору «Благовествования» важно эти законы нарушить, открыв в привычном и нормальном из ряда вон выходящее, и н о е.

Отдельного внимания заслуживает тринадцатая глава «Благовествования», которой принадлежит особая роль в сюжетной структуре текста.

Прежде всего следует отметить, что номер главы — «тринадцать» — выводит эту главу за рамки того ряда, который образуют главы с первой по пятую. «Тринадцатой» глава называется не потому, что следует за первой, второй... пятой и, далее, за отсутствующими по какой-то причине шестой-двенадцатой, как отсутствуют, например, «пропущенные» главы в пушкинском романе в стихах. У В. Ерофеева «тринадцатая» глава находится вне того ряда, который образуют главы с первой по пятую; изображаемые в ней «события» не предшествуют событиям первой-пятой глав и не следуют

за ними, они — другие и существуют в рамках принципиально иной логики сюжетного развертывания.

В «тринадцатой» главе максимально лаконично сформулирован тезис, который уже был заявлен выше, в предыдущих главах, но там он растворялся в многочисленных деталях и сюжетных подробностях. На этот раз все «лишнее» вынесено за скобки, а в самих скобках остался только сжатый до тезисной формы вывод об уходе «из мира скорби и печали, которого не знаю, в мир вечного блаженства, в котором не буду».

В этом «выводе» обращают на себя внимание два обстоятельства. Первое — это апофатизм в определениях обоих миров, мира покидаемого и мира искомого, чаемого; один мир неизвестен, второй недостижим, то есть, по сути, героя («я») не принадлежит ни одному из них, находится в ситуации «между», являющейся для него единственной органичной и отвечающей его самоидентификации. Второе обстоятельство связано с подчеркиванием ситуации «ухода», выступающей в качестве единственной реальности для героя, которому не важно, откуда именно он «уходит» (он ведь «не знает» этого, покидаемого им, мира), как не существенно для него и то, куда он стремится (это для него, в принципе, безразлично, так как куда бы он ни стремился, он там «не будет»). Но сам уход для героя необходим, так как именно в нем он осуществляется как «вестник», то есть величина метафизическая, соединяющая и разделяющая миры, но ни одному из них не принадлежащая.

В контексте тех наблюдений, что были сделаны нами выше, «вывод» тринадцатой главы означает примерно следующее. В «Благовествовании» стираются различия между «утром» и «вечером», «началом» и «концом», «жизнью» и «смертью», «Адом» и «Раем». Важен только момент перехода, только он — реальность, обладающая ценностью и утверждающая, что те миры, между которыми эти переходы осуществляются, тоже реальны и обладают своей ценностной значимостью.

Другими словами, автор «Благовествования» сосредоточил свои усилия на том, чтобы утвердить ценность крайних точек «жизненного пути», являющихся точками соприкосновения иных миров, точками «вести», в противоположность любой протяженности, будь то протяженность «скорби и печали» или протяженность «вечного блаженства», одинаковые в своей унылой неподвижности и наполненности «поэзией трудовых будней».

«Благая весть» В. Ерофеева, как следует понимать ее из нашего анализа одноименного произведения, заключается в проповедовании *неправильного* как главной ценности, обеспечивающей единство сотворенного и Творца. Законы, на которых держится любая протяженность, должны нарушаться и разрушаться, только в этом случае Творец и сотворенный им мир сохраняют ощущение своей сопричастности и самих себя в качестве начал, причастных к творчеству.

Исходя из этого понимания «благовествования» В. Ерофеева, становится понятна «странная» ситуация, изображенная в пятой главе, когда «благовествующий» останавливает бегущих на помощь к утопающему предупреждением, что, достигнув «вожделенной цели», тот, кто сегодня жаждет помощи и спасения, станет «вдесятеро преданней земле и враждебным Мне началом». «Позвольте утопающему стать утонувшим», — говорит герой, ибо гибель, в его понимании и в понимании автора «Благовествования», так же благодатна, как и рождение, так как является «краем» и «вестью», в которых страждущему открывается *иное*.

В заключение этих размышлений обратимся к анализу мотива, играющего крайне значимую роль в поэтике «Благовествования». Это мотив смеха и обертонов смешного.

Достаточно беглого взгляда на текст «Благовествования», чтобы понять, что смехом пронизаны практически все его главы (кроме «тринадцатой»): смеются над героем, смеется он сам, причем эмоциональная амплитуда его смеха колеблется от «улыб-

ки» и счастливого смеха до смеха от бессилия и почти безумного хохота. Смех в «Благовествовании» возникает не только там, где он, казалось бы, оправдан, но и в неожиданных, непредсказуемых ситуациях, чем ставит в тупик читателя и заставляет всякий раз заново выстраивать стратегию взаимоотношений с текстом.

Приведем несколько примеров актуализации мотива смеха в тексте «Благовествования».

В первой главе смех сопровождает появление Духа, сошедшего на героя («...кто-то давился от смеха над моей головой и тряс меня за волосы...»); смехом встречается признание героя в том, что он не вполне понимает обращенных к нему слов («И он рассмеялся, и сказал мне: «Наступит время и Ты поймешь» и т. д.); смеясь, Дух уносит героя навстречу ожидающим его искушениям («И он говорил <...>, и шептал мне на ухо, и обливал меня дождем, щекотал, и смеялся, и уносил меня на крыльях блеющего смеха» и т. д.). Что касается самого героя, то он в первой главе не смеется; только однажды он говорит о себе, что его «забавляло проворство <...> декламаций» разговаривающего с ним Духа.

Следующая, вторая глава – наименее «смешная» в тексте «Благовествования». Впрочем, отсутствие в ней «смеха» мотивируется в тексте тем, что действие этой главы происходит в Преисподней, за тем рубежом, за которым «умеют улыбаться только дубовые головы».

В третьей и четвертой главах инициатива смеха, вспыхнувшего с новой силой, переходит к герою, смеющемуся в ходе любовной игры с девой, «достигшей в красоте пределов фантазии» («и – я смеялся утробным баритоном, она – мне вторила сверхъестественно-звонким контральто») и отвечающему смехом на угрозу его жизни («И с тех пор много дев домогалось меня, и я отворачивался, истлевая в пламени вожделений, и искали убить меня, и я смеялся»), веселящемуся, когда «могущественнейший из архангелов задрожал от стыда и боли <...> и громадным пинком вышвырнул <его> за пределы райских преддверий» («я рассмеялся от счастья и покорный зову высших предназначений»), и хохочущему над разгадкой тайна Духа и над своим возвращением на землю («И над зевами всех пропастей я хохотал, как сорок умалишенных» и т. д.). Кроме тех случаев в двух названных главах, где смеется герой сам по себе, в двух случаях смех включает его в некое сообщество, обозначенное как «мы», которое в одном случае «улыбается» («И улыбнувшись, хранители тайны неизреченной, мы отвечали Ему» и т. д.), а в другом случае обещает «рассмеяться» («И если престол Его неколебим, мы – сто тридцать недель спустя – рассмеялись от бессилия, но не отступим от наших заповедей»).

В заключительной, пятой главе «смех» фигурирует в вопросе, обращенном «ковыряющими в носу» непосвященными к последователям героя, его своеобразным апостолам: «Кто этот Пилигрим? и венец Его, и поучения одинаково смехотворны».

Итак, как видно из этого «краткого конспекта» «Благовествования», «смех», в самом деле, принижает все произведение от начала до конца, но вот функции его в разных сюжетных ситуациях отличаются. В этих отличиях нам и предстоит разобраться для того, чтобы сделать вывод о смысловой природе ерофеевского смеха в интересующем нас произведении.

Почему раздается смех в первой главе «Благовествования» и в чем состоит странность этого смеха?

Фактически в этой главе, как было сказано выше, изображается смерть героя, который прожил свой «день жизни» от начала до конца. Неслучайно от него, от этого дня, к началу текста не осталось и следа, только «утро» и «вечер», которые в контексте ерофеевского повествования оказываются одним и тем же – одной точкой, одним порогом, отделяющим э т у грань мира от того, что находится по т у его сторону.

Начало и конец «очень жизненного пути» не разделены у В. Ерофеева, а совпадают и являются разными названиями одного и того же предела, в котором человек в свое время утрачивает единство с миром, рождаясь в жизнь, представляющую собой воплощенную дисгармонию, и вновь возвращается в состояние собранности.

Смех маркирует эту «крайнюю» точку – точку перехода из одного мира в другой, из «живого» в «мертвое».

Дальнейшее развитие смехового сюжета в первой главе «Благовествования» связано со все более и более глубоким погружением героя в состояние смерти. Посредством смеха герой постепенно приобщается к «не вполне изъяснимому» синтаксису посмертных объяснений с ним (Дух рассмеялся в ответ на жалобу героя, что он не понимает обращенных к нему слов) и «на крыльях блеющего смеха» уносится вдаль от земли, которая выступает как пространство жизни.

Отдельного внимания заслуживает «блеющий смех», которым завершается развитие смехового сюжета первой главы. Не надо прилагать специальных усилий, чтобы увидеть в «блеющем смехе» парафраз «козлиной песни», где «блеющий» и «козлиная» имеют больший коэффициент корреляции, а «смех» и «песня» – меньший. В свою очередь «козлиная песнь», как известно, дала начало трагедии, и, таким образом, возникновение ее в главе, изображающей смерть героя, более чем оправдано.

Насыщенной «смехом» первой главе в зеркальной композиции «Благовествования» соответствует траурно-печальная глава пятая. Смех в этой главе отсутствует, лишь однажды упоминаясь в качестве язвительного упрека в адрес героя, поучения которого кажутся читающим решения июньского пленума «смехотворными». Напротив, «слез», «печали» и «траура» в этой главе предостаточно («...и вопль о помощи огласил почиющие тростники, и траурный всплеск...», «...околдованные, повиновались, и с рыданием последовали за Мной...», «...и плакали горше прежнего...» и т. д.).

Таким образом, В. Ерофеев меняет знаки, маркирующие рождение и смерть: первое встречается сожалением и изъявлениями скорби, второе – весельем и смехом. Цель у этой подмены очевидная и состоит в том, чтобы, нарушив правила, вернуть рождению и смерти нивелированный культурными стереотипами смысл узловых точек бытия, связывающих разные его грани.

Аналогичные выводы можно сделать и в отношении распределения «смехового» во второй (адской) и в четвертой (райской) главах. «Адская» глава не смешна, райская насквозь пронизана смехом: серьезный верх и несерьезный низ поменялись местами, чтобы из стереотипных представлений об Аде и Рае стать неправильными и в силу этого – живыми – образами.

Особая роль в смеховом сюжете принадлежит третьей главе, самой насыщенной смехом и различными его обертонами от «я улыбнулся ей... она польщено хихикнула» до «я смеялся утробным баритоном... она – мне вторила сверхъестественно-громким контральто», и в то же время – самой трагической («...и сердце отвергнутой надломилось; и рыдала на ложе из зелени»). Смех и смерть подходят друг к другу в этой главе на максимально близкое расстояние («...и искали убить меня, и я смеялся»). Именно здесь смех обнаруживает свою амбивалентность, состоящую в том, что смеховое начало сопровождает как рождение, так и смерть, образующие, как отмечалось выше, в третьей главе неразрывное единство.

Подводя итоги нашим наблюдениям можно сказать следующее. В основе сюжетно-смысловой структуры «Благовествования» В. Ерофеева лежит мысль о том, что подлинная правда человеческого бытия сосредоточена в точках «начала» и «конца», «входа» в него и «выхода». Эти точки – точки, где сотворенное взаимодействует с Творцом, источники «благой вести». Краям «жизненного пути» в системе В. Ерофеева противопоставлена протяженность – унылая и безжизненная, причем неважно, о какой протяженности идет речь – о прижизненной или о посмертной.

Чтобы подчеркнуть мысль о значимости крайних точек и незначительности любой протяженности, автор «Благовествования» меняет эти точки местами, маркирует их «не теми» культурными знаками и т. д. — одним словом, выворачивает мир наизнанку, чтобы вернуть ему трудноуловимое, не поддающееся измерениям и систематизации, но единственное, что сохраняет смысл его бытия, — творческое начало.

Библиографический список

1. Ерофеев В.В. Оставьте мою душу в покое: Почти всё. М.: Изд-во АО «Х.Г.С.», 1997.
2. Ерофеев В.В. Мой очень жизненный путь. М.: Вагриус, 2003.
3. Скоропанова И.С. «Благовествование» и «Василий Розанов глазами эксцентрика» Вен. Ерофеева как комментарий к поэме «Москва–Петушки» // «Москва–Петушки» Вен. Ерофеева: материалы Третьей международной конференции «Литературный текст: проблемы и методы исследования». Тверь: Твер. гос. ун-т, 2000. С. 86–90.

References

1. Erofeev V.V. Leave my sole in peace: almost everything. M., Izd-vo AO «Kh.G.S.», 1997 [in Russian].
2. Erofeev V.V. My very life journey. M., Vagrius, 2003 [in Russian].
3. Skoropanova I.S. «Evangelical Preaching» and «Vasily Rozanov as viewed by eccentric» by Ven. Erofeev as a commentary to the poem «Moscow-Petushki». «Moskva – Petushki» Ven. Erofeeva: materialy Tret'ei mezhdunarodnoi konferentsii «Literaturnyi tekst: problemy i metody issledovaniia» [«Moscow – Petushki» by Venedikt Erofeev: proceedings of the Third international conference «Literary text: problems and methods of research»]. Tver, Tver. gos. un-t, 2000, pp. 86–90 [in Russian].

*М.А. Perepelkin**

WORLD INSIDE OUT: METAPHYSICS OF «BORDER» IN «EVANGELICAL PREACHING» BY V. EROFEEV

In the article the analysis of the system of motives, ideas and philosophical concepts of one of the earliest works by Venedikt Erofeev — «Evangelical preaching» («The Good News») at the heart which there lies a thought that genuine truth of the human existence is concentrated in the points of «Alpha» and «Omega». Emphasizing thought about the importance of these extreme points. V. Erofeev turns life inside out to restore to it the only that keeps meaning of its existence — creative element.

Key words: V. Erofeev, metaphysics, narrative and semantic structure, «borders» in the narrative structure.

Статья поступила в редакцию 17/XI/2014.
The article received 17/XI/2014.

* *Perepelkin Mikhail Anatolievich* (mperepelkin@mail.ru), Department of Russian and Foreign Literature, Samara State University, Samara, 443011, Russian Federation.